
Евгений КАМИНСКИЙ

* * *

Один издатель Юра
прислал мне в мейле как-то:
«Вы не поэт де-юре,
зато поэт де-факто.

Но лучше б вам — де-юре.
Не лириком, хоть кем-то...»
Такая вот структура
текущего момента.

Картина вот такая.
Ведь жить хотя б на крохи
нельзя, не потакая
нам чайньям эпохи.

Нельзя в себе сугубо
и лишь путем глагола,
а то она, голуба,
за чуб тебя, монгола,

потом тебя, героя,
за шкурку и — в колодки.
Для тех, кто — прочь из строя,
как выстрел, век короткий.

Ни зрелищ им, ни хлеба
ни-ни, а в виде голом
отсюда прямо в небо
дорога им, монголам.

Что нам де-факто наше?!
Когда нам без де-юре
как пахарю без пашни,
как боцману без бури,

как брахману без трансa,
как плебсу без Мессии,
как музыке без Брамса
и бунту без России.

Евгений Юрьевич Каминский родился в 1957 году. Поэт, прозаик, переводчик. Автор десяти книг стихотворений и нескольких книг прозы. Публиковался в журналах «Октябрь», «Звезда», «Юность», «Литературная учеба», «Волга», «Урал», «Крещатик», «Дети Ра», «День и ночь», «Плавучий мост», «Зинзивер» и других, в альманахах «День поэзии», «Поэзия», в «Литературной газете». Участник поэтических антологий «Поздние петербуржцы», «Строфы века» и многих других. Лауреат премии Гоголя за 2007 год. Живет в Санкт-Петербурге.

* * *

Уж если ты все — для хорея,
то будь хоть барон или граф,
а кончишь на свалке скорее,
чем все в казино проиграв.

И будет всего тебе мало,
и будешь всегда невпопад,
нелепый средь шумного бала
влюбленный в себя психопат.

Ужели кому-то здесь важен
кимвалом гремящий пророк?!
Вот-вот. Скоро близкие даже
не пустят тебя на порог...

И что же потом? Как собаки,
хрипящие в спину менты,
мадам из Инты, буераки
да жизнь проклинаящий ты.

Хоть рви этой жизни гармошку,
блажи, задыхаясь от слез,
а если ты — не понарошку,
ответить придется всерьез:

зачем жизнь истратил на *слово*
и что в этой жизни, чудака,
она тебе сделала злого,
чтоб ты ее *даром вот так?*

* * *

В роскошной бедности, в могучей нищете
свистит, как дворничиха, чайник на плите,
вдруг мент, как тать, в окно заглянет волком,
и ясно все... И ничего уж толком.

Сколь крик души ни множь тут на слова —
стих тьмы черней и злей, чем татарва,
ровней черты, а надо — чтоб ранимеей,
изломаннее черт лица и линий...

Зачем? Кому? Им всем?! Не надо, друг,
смотреть назад. Длань положив на плуг,
жми — целину отваливай по ходу,
режь до корней в любую непогоду.

*В роскошной бедности, в могучей нищете —
покуда мент и дворник на щите
не вынесли на свет тебя, изгоя, —
ищи свой свет. Бессмысленно другое.*

* * *

Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?
Борис Корнилов

Иным родства не помнить — что такого?!
А мне своих истоков не забыть.
Особенно в семь тридцать заводского
гудка в окно, когда не в силах жить,

мрачней черты, лицом черней араба,
упертый в стену лбом, как носорог,
я умирал, а он ревел, как баба.
Он мертвого с одра поднять бы мог.

А за окном в порыве неустанном,
чтоб пять в четыре выдать на-гора,
ударники к мартенам шли и станам,
как верные присяге юнкера.

Он в крик кричал мне, как пророк Исая!
И я, с одра мучительно восстав,
шел, чтоб окно захлопнуть, воскресая,
хрипя, до жизни жадный, как Фальстаф.

О чем тут речь? О радости, конечно.
Гудку в ответ отборно матерясь,
я пил рассол из банки огуречный,
нащупывая вновь с пространством связь.

И шел опять витийствовать к поэтам,
литаврами души своей гремя,
ликуя, что не все еще *на этом*,
что есть еще *все это* у меня.

* * *

Выдохлась эра костров и веселых гитар,
в клетках загнулись орлы, в парках вымерли песни.
Даже не стоит загадывать: ах, вот бы если...
Вниз, простынею накрыв, отвезет санитар.

Правил кавычки, привычного дела тюрьма,
жизнь — словно крик электрички полуночной, встречной.
Не было вечности. Был лишь билет до «конечной»
с жалкой надеждой на свет, где была только тьма....

С жалкой надеждой на свет, где была только тьма?
Это, пожалуй, обжора и лакомка, слишком!
Кто тут транжирил, вином обливая манишку,
вечность свою, от возможности сей без ума?

Тотьма была это, Кинешма иль Бугульма —
где б ты ни был, было жизни другой и не надо.
Ведь даже ад записной, а не, скажем, Эллада
жадно читался тобой, как романы Дюма.

Жизнь была все-таки честная с кем-то игра,
если вот так все кончается, в общем, красиво:
ночь, санитар с простыней... а не яр и осина,
крик электрички полуночной et cetera.

* * *

Уж пора бы смириться
и чудного, как ять,
журавля на синицу
в голове поменять.

Хорошо, не на гада
или муху цеце...
Просто с кем-то же надо
оказаться в конце?!

Словно Троцкий, синичка
будет гладко *нести*,
мне золотое яичко
обещая снести.

Лишь сиди и не вякай!
Только слишком гордец
я, чтоб верить тут *всякой*
в сей счастливый конец.

Нет, душа у синицы,
как удавка, узка,
из дешевого ситца
и сатина куска,

не для важности тога,
не для грез кимоно...
срам прикрыть хоть немного —
вот что *этой* дано.

Лишь на то и годится,
чтоб ты в самом конце
жил не Гоголем в Ницце,
а изгоем в Ельце,

в беспробудной печали,
не — во имя, не — для...
а ведь мог же в начале,
мог... И — без журавля.

* * *

Ничего, кроме пары блокнотов
и бутылки обычных чернил —
тем, кто понял здесь главное что-то
и тому себя сам подчинил.

Для кого, кроме слова, не надо
ничего ни в себе, ни вовне,
в ком душа, как насельница ада,
все горит, не сгорая, в огне.

Кто живет на горении голом.
Потому что и здесь, и везде
тот, кто в жизни отведал глагола,
не притронется к прочей еде,

ничего для собеса не стоя
и любовью ничьей не храним.
Ибо все для него здесь пустое
по сравненью с глаголом одним.

* * *

Смотрит старуха; в глазах то ли синь василька,
то ли застиранный ситец спецовки бэушной.
Дунь на старуху — и вмиг, простодушно-легка,
вдаль улетит, как какой-нибудь шарик воздушный.

Сколько в ней неба! И сколько уже облаков!
Что ей, такой-то, в хрущевке на Ржевке пылиться?!
Но вот сиди, дожидайся, порядок таков.
Мало ли что ты уже не старуха, а птица.

Сам посуди, воробьиный почти рацион:
манка да гречка. Ах да, еще сахар пиленый...
Что из того, что в матрасе зашит миллион?
Это ж старухин. А птичке зачем миллионы?!

Впрочем, в хрущевке старухиной нынче — весна.
Как только влезли в шесть метров с Гурзуфом Алупка?!
Слышишь, «Голубка» Шульженки звучит там без сна?
И сколько в дверь ни стучи — не умолкнет голубка...

Ждать-то чего?! Всем же видно: хоть завтра, легко!
Уж извелись с ней соседи — с таджиком узбечка...
Или для встречи еще не открыли «Клико»
те, что певунье на небе пригрели местечко?

Значит, заминка. Пока не оформлен транзит.
С глаз бы убрать до развязки финальной бедняжку:
слишком уж небо — лишь вежды откроет — сквозит.
Как бы и впрямь эту птичку не сдали на Пряжку.

* * *

Закончится слава земная,
иссякнет удачи запас,
и сядешь ты, гений, стеная,
как люди, на хлеб и на квас.

Жестокое небо ругая,
с прискорбием в себе ощутишь
уже не орла — попугая
да вечно голодную мышь.

И сменил порфиру рогожа,
и разум преткнется на том,
что слава земная, похоже,
была просто блеф и фантом.

Кому-то другому удача
откроет свои закрома
и нежные перси в придачу...
как, помнишь, тебе — задарма?

Бессмысленно выть и браниться,
за хлястик хватать беглеца.
Засветит тебе лишь больница,
где гаснут, спадая с лица.

Где все и страшнее, и проще.
Где не жемчуга́ и парчу,
а лишь свои жалкие мощи —
вот все, что ты можешь врачу...

В пространстве безликости неком,
жестоком, как Ветхий Завет,
где попросту быть человеком
так важно, да сил уже нет.